

Игорь
Свинаренко

рисулки
Андрея Бильжо



Записки
одесскита

Егор Кастинг

Записки одессита

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177991

Записки одессита / Игорь Свиначенко. : АСТ: АСТ МОСКВА; Москва;

2009

ISBN 978-5-17-057965-5; 978-5-403-00381-0

Аннотация

Широко известный в узких кругах репортер Свиначенко написал книжку о приключениях и любовных похождениях своего друга. Который пожелал остаться неизвестным, скрывшись под псевдонимом Егор Севастопольский.

Книжка совершенно правдивая, как ни трудно в это поверить. Там полно драк, путешествий по планете, смертельного риска, поэзии, секса и – как ни странно – большой и чистой любви, которая, как многие привыкли думать, встречается только в дамских романах. Ан нет!

Оказывается, и простой русский мужик умеет любить, причем так возвышенно, как бабам и не снилось.

Читайте! Вы узнаете из этой книги много нового о жизни. То, что люди скрывают от других, тут вывалено в открытый доступ.

Содержание

От автора	4
Драки за Пастернака	6
Семья патриотов	20
Песня о Родине (исповедь графомана)	36
Первая женщина	60
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Игорь Свинаренко

Записки одессита

От автора

Одесса...

Очень комфортный город для космополита, единственно-го в мире украинского интернационалиста – это я про себя. Я туда еще не перебрался с вещами, но не упускаю случая там побывать и подышать полной грудью. Пройтись по Пушкинской, которую одессит Игорь Метелицын (кстати, идейный вдохновитель этой книжки) считает самой красивой в мире – даже после того как объехал полмира.

Я вам не скажу за всю Одессу, но перед некоторыми людьми там я просто снимаю шляпу, молча, не зная что сказать. Что ни захочешь сказать, они скажут лучше. Игорь Кнеллер, Гарик Голубенко, Виктор Красняк и идущий вне конкурса Борис Литвак. Не знаю, как делают таких людей и отчего они так хороши.

Сам город, кроме того что прекрасен, еще и непонятен мне абсолютно. В чем я честно признаюсь. Наверное, потому меня туда и тянет. Логично? Потому про этот город можно без конца думать и писать.

Что касается этой книжки, то она довольно щадящая, дру-

жественная по отношению к читателю, не требующая от него страшных усилий. Ее даже не обязательно читать! Достаточно пролистать, и почти все будет понятно – благодаря веселым картинкам работы знаменитого Андрея Бильжо и тонкому оформлению, которое выполнил затейливый дизайнер Никита Голованов. Они сделали эту работу по-дружески, за что им огромное спасибо.

Мне, конечно, немного неловко перед коренными одесси-тами за то, что я замахнулся на такую тему и дал книге громкое название. Но они сами люди неполиткорректные и потому, конечно же, меня поймут и, разумеется, похвалят. Мы же с ними фактически молочные братья, мы любим одну и ту же прекрасную Одессу.



Драки за Пастернака



За пятый класс я поменял четыре школы, а везде бьют, это ж драться надо. И дома я дрался, с младшим братом, один из нас был Фидель Кастро, а второй Джон Кеннеди. В мире тоже было беспокойно, как раз начался Карибский кризис, ждали ядерной войны. Серьезное было настроение. И мама решила: умирать, так всем вместе. Мы сели в Одессе в поезд и поехали в город Братск, где работал отец.

Я там знал все, мы там раньше жили пару лет. На меня сильно повлиял Братск. Сейчас не понимают, что такое была Братская ГЭС. Это был символ. Бренд! В оттепель туда поехали люди, чтобы строить коммунизм с человеческим ли-

цом. Абсолютная романтика. Мне было десять лет, а романтику я уже чувствовал. На плотину просто молились все. Кто работал на основных сооружениях – это гвардия была, не в конторе ж сидеть...

Мои родители поженились в 56-м в городке Усть-Кут, там одни лагеря вокруг были и судоверфь. Зеков повыпу-скали, а без них верфь, где папа был главным инженером, закрылась, ну и махнули они в Братск, тогда город только начинался. Жили в палатках, и я в школу из палатки пошел – не туристской, конечно, это была военная палатка, здоровенная такая, с каркасом, на деревянном помосте. К этим палаткам приходили местные в ремесловой форме и били всех приезжих пацанов. Потом мы переехали на другой берег, в коммуналку. Через Ангару перебирались по льду, пешком.

Папа был большой начальник на стройке, он получал северные надбавки, и мама тоже. Жили мы хорошо. У нас первая машина появилась в 1958 году, «Москвич». Потом купили «Волгу», у вдовы экскаваторщика – Героя Соцтруда, он в лоб ударился с «МАЗом». Новую же достать было нельзя. Эти руины повезли в Иркутск и там сделали из них машину. Та «Волга» жрала резину, пока ее не перепродали, там же лонжероны пошли...



В 63-м или в 64-м туда приехал Евтушенко, который был в опале. Он читал тогда стихи о русской игрушке:

Мы народ Ванек-встанек,
Нас не Бог уберег,
Нас давило и мяло
Много разных сапог...

Его там приняла интеллигенция. Стихи Евтушенко после его выступлений ходили в записях. Вот с чего я к стихам потянулся: мои родители слушали эти катушки. Мне интересно – он герой был для родителей, они встречались с ним в какой-то компании. Я стал читать стихи и благодаря Евтушенко проскочил Асадова (это был отстой). Я стал читать очень серьезные вещи... Спустя два года после того как я впервые услышал Евтушенко, знал уже, кто такие Пастернак, Элюар, Лорка, Превьер, Бодлер... Это все сформировалось

очень-очень рано.

А потом я и сам стал писать.

Стихи. При том что я девушку без трусов впервые в 21 год увидел... Я с 18 лет стал встречаться со своей первой женой и, четыре года с ней встречаясь, не трахался... Наверно, отсюда все мои стихи.

После ракеты с Кубы убрали, все как-то утряслось, мама поняла, что конец света откладывается – и мы, прожив пару лет в Сибири, вернулись в Одессу. Опять новая школа, снова драки. Я был посередине – мог побить половину класса, а вторая половина могла побить меня. И я пошел в старую кирху на Ленина, где размещалось общество «Авангард» – к знаменитому тренеру Аркадию Бакману, заниматься боксом. Это был патриарх, он до войны получил бронзовую медаль на первенстве Советского Союза. Я прозанимался у него почти год, а прогресса не было.

Понятно – тренер плохой... Я был ленив, не хотел работать и не понимал, что плохому танцору яйца мешают. И я сказал этому старому мудрому еврею, что хочу перейти к другому тренеру.

– Нет вопросов, – сказал он. – Но вот сейчас будет открытый ринг, выйди и подерись вон с тем парнем. Ты же должен напоследок показать, чему я тебя научил.

Я вышел, и этот пацан меня отхерачил так, как меня никто и никогда не бил. Он был не лучше меня, просто не про-

пускал тренировок...

Я после долго еще ничего не понимал. Учиться и вкалывать мне было скучно, мне было интереснее плохо учиться и ходить фарцевать с Толиком Кантором. Он учился еще хуже меня, и я удивлялся: как же он, идя на такое дело, не знает английского.

Первый раз был такой. На Приморском бульваре Толик подошел к индийскому матросу и спросил:

– Хэв ю бизнес?

– Ес.

– Гоу.

И мы втроем пошли к памятнику Пушкину, а там спустились в туалет.

– Шоу, – сказал Толя.

Матрос распахнул пальто, он был в штатском, а там на подкладку навешан товар. Мы взяли у него греческую жвачку, сигареты «Мальборо», носки нейлоновые, ручки, ну, такие, если их перевернуть, с бабы слезает купальник. На 25 рублей набрали товара и дали ему тридцатку старыми деньгами, которые в 61-м вышли из употребления... Индус стал смотреть банкноту на свет, есть ли там водяные знаки. Знаки были. Он успокоился и, довольный, пошел на свой пароход.

Меня поймал завуч, когда я в школьном туалете торговал жвачкой по 10 копеек за пластинку. Мне поставили тройку по поведению и на 10 дней выгнали из школы. Заняться было нечем, и я стал в парке грабить крестьянских детей: они

приезжали в Одессу из своих колхозов, их называли рогатые – кугуты. Подходишь к такому и говоришь:

– А ну дай пару копеек.

– Нету.

– А попрыгай.

Он прыгает, мелочь звенит и переходит ко мне. Я пошел, как тогда говорили, по наклонной плоскости. Было понятно, что это все не то, и я решил вернуться в спорт. Меня взяли, к другому тренеру уже, я стал заниматься серьезно, не пропускал тренировок и скоро по «Воднику» взял третье место по Союзу. Это было очень здорово. Я научился тогда работать!

Дальше я поступил в высшую мореходку и стал чемпионом города среди юношей. А потом мне запретили заниматься боксом, оказалось, у меня что-то с сердцем, блокада какой-то ножки... Слава Богу, я перестал заниматься, а то бы мне отбили мозги. У меня был однажды нокдаун, а это всегда сотрясение мозга. Помню, я пришел в себя на счете «семь». А шесть секунд до этого я не слышал ничего и не видел. Бой остановили. Когда через два часа я попытался сесть в автобус, то долго не мог ногой попасть на подножку. После у меня было еще два сотрясения, один раз мы подрались ужасно совершенно на морвокзале, а второй – на Зее меня ударило арматурой, когда я работал третью смену подряд мастером и потерял бдительность. За три года, что я работал на Севере, мы на участке человек восемь похоронили. Помню, на моих глазах из кабины крана вывалилась половина крановщика –

верхняя половина: его перерезало тросом, когда стрела падала.

Бокс... У меня было 23 боя, 19 из них я выиграл. Когда ты серьезно начинаешь заниматься такими делами, у тебя пропадает всякое желание на улице драться. Тренер нам рассказывал: «Если ты решил драться, то надо драться эффективно. Но человек очень хрупок, он может удариться затылком о бордюр и умереть. Вам это надо?» Боксера учат терпеть, быть хладнокровным, не поддаваться: может, тебя заводят, чтобы ты кинулся. Это самурайское дело – научиться пахать тяжело и удары держать. Очень многому я научился в спорте. Прежде всего работать. Я понял: какие бы у тебя ни были способности, ты должен пахать, а то, что на поверхности лежит, ничего не стоит. Если у тебя нет базы, ничего не будет... Кстати, со стихами приблизительно то же. Я знаю что говорю.

Я знаю всего Пастернака, я давно понял, что это гений, я так не смогу никогда, и потому я бросил писать стихи. Но думать о них не перестал.

Как-то я в ресторане, пьяный, заспорил насчет Пастернака. В Америке еще. Было так. Я тогда крепко выпил... Под конец вечера появился человек, знакомый моих знакомых, у него была жена полухудожница, он подсел к нам. Я знал его в лицо, он год назад из Питера приехал в Америку; понятно, денег нет, озлобленность, неуверенность в завтрашнем дне. Там таких много, я сам когда-то через это прошел. И вот он

говорит:

– Я – поэт.

– А, поэт! Ну раз так, прочти что-нибудь. Он прочитал мне какие-то свои стихи. Я, естественно, сказал, что это говно. И добавил:

– Пастернак – высокая поэзия, а ты кто? Какой из тебя поэт? – и процитировал:

В тот день всю тебя от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Я на чем всегда попадаю? На Пастернаке. Моя рецензия переполнила чашу терпения поэта. Я, видно, его оскорбил в самое сердце. При том что ему и так жилось несладко.

Мы вышли из ресторана... А был я в таком состоянии, что меня мог и пятилетний ребенок избить. Похожий случай у того же, кстати, ресторана был с Володей Козловским – с «Голоса Америки», я ему сказал:

– Как говорил Мастер поэту Бездомному: не пишите больше.

Но Володя – интеллигентный человек, он не стал драться и просто ушел, как будто согласившись со мной.

На улице, помню, поэт начал истерически что-то кричать. Дальше я лежу на асфальте, поэт сидит у меня на груди с поднятым кулаком и говорит:

– Я тебе сейчас как врежу в челюсть, гад! Проси прощения!

Я послал его на хуй. Он ударил меня по голове. Потом все кончилось. Идти я мог с трудом, но до машины добрался, залез в свой «мерседес» и поехал – это было намного легче, чем идти.

В семь утра я проснулся, вспомнил все и начал обзванивать знакомых, я искал поэта, бой с которым закончился так жалко. Я дозвонился полухудожнице:

– Слушай, ты найди этого пацана, и пусть он найдет меня... Если он боится синяков, у меня есть две пары боксерских перчаток, побуцкаемся при свидетелях, и я буду удовлетворен. А так у меня еще и цепочка пропала за две тысячи... Заявлю в полицию – его депортируют...

Он не находился, а полицию я не вызывал. Зато мне передали, как жена поэта отзывается обо мне:

– Мы боимся! Егор с такими людьми связан, пришлет наемного убийцу...

Наверно, они намекали на то, что я работал со строителями, а этот бизнес держала тогда итальянская мафия...

Я не стал никого в этом разубеждать. Я только зловеще молчал, и это действовало. Пару лет поэт с этим жил и мучился, и оглядывался по вечерам...

Потом у меня была еще одна драка по поводу Бориса Леонидовича, в Москве.

Мы сидели в «Маяке» в пятницу вечером. Выпили креп-

ко... Один малый, толстый и здоровый, взял микрофон и стал петь со сцены. Кто-то из девушек за нашим столом говорит:

– Зачем мы это должны слушать? Пойди лучше почитай Пастернака.

Я подошел к сцене и говорю:

– Слышь, брателло, я могу после тебя выступить? Он говорит:

– Иди на хуй. Иди, короче, отсюда.

– Слушай, ну это некрасиво, это ж клуб. Надо отвечать за свои слова...

– Ну ладно. – И он бросил микрофон. Я стал читать стихи... Но вокруг стоял такой шум, и до такой степени меня никто не слушал, что я быстро понял: это ни мне не нужно, ни им. Когда я сошел со сцены, ко мне подходит мой толстяк:

– Слышь, брателло, ты ж мне сказал, что надо отвечать, – так я готов.

Он меня пригласил драться!

Мы пошли в предбанник, что у сортиров.

За нами пошел охранник. Я был хоть пьяный, но сообразил, что, если этот здоровяк попадет в меня со своей массой, то я тут же упаду. И я понял, что надо убивать его.

Когда я увидел, что его правый кулак идет к моей голове, то тут же – фантастическая вещь, какая память у тела! – я его левой снизу как захуячил в челюсть – и еще правой сбюку по голове. Тебя научили 30 лет назад, а тело помнит. В

чем прелесть бокса, так в том, что ты без замаха бьешь. Из любого положения, где у тебя рука находится. А так-то человек, если не боксер, обычно делает замах – и показывает свои намерения.

Ударил я, значит, и – о чудо! – он сразу стал оседать...» И тут я – в первый раз в жизни – ударил человека ногой. (Ну, первый, – так надо же когда-то начинать. – КС.)

Человек, когда начинает драться, через какое-то время – особенно если под эти» делом – он звереет, контроль над собой теряет, вся цивилизация с него слетает.

С каждым такое может быть. После остается осадок неприятный, ты же вроде имеешь какое-то уважение к себе. И вдруг понимаешь, что ничем не отличаешься от грубых тварей. Я помню, на Зее, на коммунальной кухне, двое жильцов поссорились. Один вытащил нож, другой свалил его и стал ногами в тяжелых таких рабочих ботинках бить упавшего по голове, она только моталась из стороны в сторону, как у куклы, человек был без памяти.

После друг затащил его к себе в комнату. А на следующее утро оба дружно побежали за бутылкой и скоро вернулись с водкой и с банкой помидоров...



Охранник посмотрел, как я бью лежащего ногой, и сказал:
– А вот это, Егор Иваныч, было лишнее.

Мне ответить было нечего: он прав, а я нет. Смотрю – у меня руки в крови. Помыл я руки... А он лежит, лежит без чувств. А я, дурак пьяный, пошел сел за стол и еще выпил. Я не думал, что сейчас ментов вызовут, они заметут нас в каталажку, отпиздят, а потом будут разбираться. Ко мне подошел малый, вижу, пьяный, но в достаточно хорошей форме. И говорит:

– На хера вы искалечили моего товарища? Что он вам сделал?

– Он первый меня ударил по голове.

– Где, покажи.

– Он не попал.

– А, не попал! Ты думаешь, ты тут самый храбрый? Сейчас будем с тобой разбираться... Я хочу знать: из-за чего вы подрались?

Я подумал и честно сказал:

– По-моему, за Пастернака.

– Ну, так это ж другое дело! Тогда к вам нет претензий. Дело, видно, и правда было плохо, потому что я, когда на следующий день подъехал к галерее, смотрю – у меня бежевые туфли замшевые PRADA забрызганы кровью.

Нехорошо получилось, нехорошо... А я знаю, что вся компания, которая в пятницу в «Маяке», включая этого пар-

ня, которого я бил ногами, вечером субботы ездит в «Петрович» на танцы. И я туда... Смотрю: все вроде там. Тина, еще кто-то, я не всех по именам знаю... Они увидели меня – и смеются! Я говорю:

– Мне жаль, что так получилось, это недостойно джентльмена. Вот, побил человека...

– Да нет, – говорят мне, – ничего страшного не случилось. Он приехал домой как ни в чем не бывало. Что его удивило наутро, так это то, что на лбу у него была выбита цифра пять.

– Пять?

– Кровавая такая пятерка, видно, кто-то его ебальником к домофону приложил... Он вообще замечательный парень, но пару раз в год напивается как свинья, пристаёт к людям, и ему иногда перепадает. Что-то его нет сегодня, наверно, стыдно на люди показаться.

И тем не менее приношу извинения. И в знак примирения прошу передать ему акварель Рустама Хамдамова.

Прошел месяц. Я снова сижу в «Маяке», в большой очень теплой компании, выпиваю, а что ж еще. И вдруг Орлуша говорит:

– Ну что вы, в самом деле, как маленькие дети? Помирись уже!

– А с кем мириться? Я ни с кем не ссорился.

– Да вот же за столом человек, с которым ты дрался.

А я его плохо помню... Как и он меня. И тут смотрю, здоровенный парень за нашим столом вскинулся:

– Так это вы меня тогда отпиздили?

– Ну, я приношу свои извинения и их вам уже передавал...

– Большое вам спасибо! Таких мудаков, как я, в таком состоянии нужно пиздить.

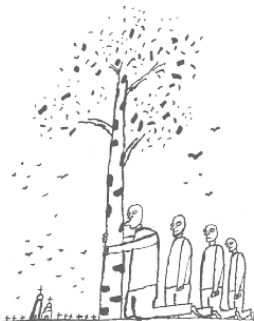
И потом, увидев меня в «Петровиче», он всякий раз кричал:

– А, это мой кореш, который меня тогда так зверски избил!

Когда ты читаешь, что Пастернак дрался с Есениным, – согласишься, что-то есть в этом неестественное, это же разрушение образа... Остается осадок, остается... Прав был охранник в «Маяке»: лишнее это, Егор Иваныч.



Семья патриотов



Смешно: я умудрился родиться в Одессе – при том, что мой дедушка свалил в Нью-Йорк еще в 1908 году.

Ему там, надо же, не понравилось, полтора года он мучился, а потом как патриот вернулся на родину. Патриот не в том смысле, в каком вы подумали: он был патриот еврейского местечка Сквир. Там, значит, было что-то, чего он не смог найти даже в Нью-Йорке, в котором вроде же есть все...

Но в Америке остались две дедовы сестры, которых он туда с собой взял. Это родные тетки мамы. Контакт с ними, понятно, оборвался из-за революции. После Второй мировой сестры нашли мою маму через Красный Крест и прислали посылку, бумаги какие-то, приглашение...

Маму с бабушкой вызвали в НКВД:

– У вас что, родственники за границей?

– Нету, нету никого! Это ошибка, однофамильцы... Заберите все, нам ничего не надо.

Потом на Запад попал мой русский отец – судьба как будто выпихивала туда нашу семью! Он оказался там, как это обычно бывает, не от хорошей жизни – но, как ни странно, не по своей воле. Началось с того, что в мае 41-го отца призывали и отправили в Брест-Литовский укрепрайон. Воевал он очень мало, их же смели в первые часы войны, и он попал в плен и три года провел в лагерях, два раза убежал из них, но неудачно, и в 44-м оказался в belle France, его освободили американцы и сразу сказали:

– Ребята, домой ехать мы вам не советуем. У нас точная информация: кто вернулся, все поехали в Сибирь, в русские лагеря. А вы, наверно, и так уже насиделись...

К себе они не звали, но можно было в Австралию махнуть, туда в те годы легко брали.

Однако же отец предпочел вернуться в Союз. И точно, он сразу попал в фильтрационный лагерь!

После моя мама спрашивала его:

– Зачем ты вернулся тогда? Он отвечал:

– Я на чужбине вспоминал сени, ковшик, бадейку с водой... И подумал: «Ну что, десять лет отсижу в Сибири – и вернусь».

Наверно, тут дело в экзотическом воспитании: его мать, а моя бабка Мария Тимофеевна была церковной старостой...

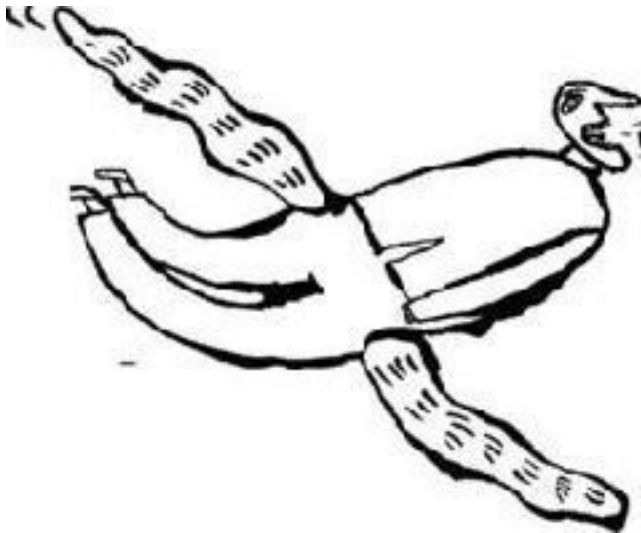
Отцу страшно повезло: вместо десяти лет, на которые он рассчитывал, ему дали всего два, и в 46-м он пришел домой, в Иваново, в черной эсэсовской шинели, – как у Штирлица, только со споротыми погонами. Сени, ковшик, бадейка – все было на месте, мечта сбылась. Патриот получил от родины все, чего хотел.

Через 80 лет после деда, почти через 40 лет после отца на Запад отправился и я. Представление об эмиграции у меня было почерпнуто из фильма «Бег»: жена на панели, сам я в лохмотьях под мостом...



Как полукровка, я не был патриотом ни с какого бока — ни местечковым, как, дед, ни великорусским, как мой биологический отец (воспитывал меня отчим-армянин). Я уехал просто потому, что жизнь моя была не устроена, жить негде, никаких перспектив. Я решил рискнуть, будь что будет, а заодно и мир посмотреть; я думал, что Союз еще долго простоит... Вот какой я дальновидный, вот чего стоят мои прогнозы! Я сразу сказал жене, на берегу, когда мы только решались на отъезд, что оставляю за собой право выйти через запасную дверь. В любой момент. Как только жизнь так сло-

жится, что мне



надо будет пройти через какое-то жесткое унижение, которого я не захочу пережить. Вот и все, очень просто. Такие люди, которые заранее решили уйти, если дойдут до какой-то точки они сразу по-другому начинают смотреть на жизнь, этак отстраненно. Они начинают рисковать серьезно, они делают вещи, на которые раньше были не способны, — ведь они как бы перестают бояться. Из этих людей на самом деле очень мало кто кончает самоубийством; но сама готовность к нему дает внутреннюю философскую опору, это очень сильный рычаг... Все это достаточно наивно для человека, которому 38 лет, но я тогда именно так это все сформулировал...

И такая ситуация, когда я сразу подумал про запасную дверь, сложилась в первый же день эмиграции! Мы прилетели в Вену, самолет приземлился, я только успел подумать: «Блядь, я улетел, все, пиздец, это сказка!» – и тут же нас на аэродроме построили, согнали в кучу как скот, и мы с девяти утра до пяти вечера стояли под дождем. Я вдруг почувствовал, блядь, охуенную беспомощность: вот стоит моя жена, вот стоит мой ребенок, и понятно, что к нам относятся как к животным. Особо тонким был такой нюанс: они там говорили по-немецки, а из нас почти все были евреи. Первый день в эмиграции был самым тяжелым днем в моей жизни... Но как-то обошлось. Вечером нас погрузили в автобус и увезли в общежитие... Через месяц мы попали в Италию, а потом после разных мытарств оказались в Америке. Денег у меня по прибытии в Нью-Йорк было 20 долларов. Я стал искать работу... Бабам легче, они полы мыли, например. А мужику куда идти? Один знакомый пошел в официанты. Я его спрашиваю:

– А меня можешь устроить? Он говорит:

– Тебе это не подойдет. Я же там как Ванька Жуков...

Официантки, которые тоже нелегалки, которые приехали на три месяца раньше тебя, будут с тобой разговаривать как со швалью – таков русский менталитет. На второй день ты наденешь кому-то кастрюлю на голову и еще по ебальнику кому-то дашь.



Когда жена нашла работу, я еще острее почувствовал свою бесполезность, меня это тяготило... Я звонил и ездил по каким-то адресам. Однажды нашел объявление, что требуются люди в лабораторию по бетону. А по бетону я защитил диссертацию... Я позвонил, долго разговаривал на своем ужасном тогдашнем английском, они не могли понять, чего мне надо. Но я как-то договорился с ними, что приеду и мы все обсудим. Но у меня нет машины, как ехать? Я пошел к Марреку, это муж Маргоши, с которой мы еще в Союзе были знакомы. Он говорит: «Поедешь к Фиме, скажешь, что ты

от меня, тебе дадут машину, я рассчитаюсь». Приезжаю... Там сидят два жирных парня. Один из них учился в школе с Витей Красняком, моим дружкой, то есть ребята вроде вообще свои. Я подумал: ну раз свои, так не обманут. Так они за 1700 долларов впарили мне машину, которой красная цена 700 долларов. Это была Renault Fuego, я раньше любил Францию, но с тех пор... За полгода я в эту развалину вложил еще 1200, чтобы она ездила, потом продал ее чуваку за 1000 долларов и перекрестился. Это был американец, он мне позвонил через три дня и говорит: «Там же тормоза не работают!» Подожди, говорю, ты же делал тест-драйв, так что теперь это твои проблемы. В первый день я опоздал на работу на четыре часа... И после опаздывал, хотя вставал в пять утра – сбивался с пути на каком-то экзите и потом долго плутал. Со мной там работали палестинец, три индуса и еще какая-то непонятная девка... Нам объясняли:

– Запомните, в Америке считается, что от человека, когда он приходит на работу, не должно пахнуть потом. Поэтому вы должны каждое утро принимать душ и пользоваться дезодорантом...

Вообще я очень мало понимал из того, что мне говорили. И в первый день приехал на работу в костюме, сдуру. На меня смотрели как на идиота... Я ведь, оказалось, был взят подсобником, который должен смазывать формы, таскать пробы и вообще делать что скажут – так я не понял даже этого, когда объясняли. Но мне страшно повезло: пале-

стинец-нелегал из нашей команды когда-то окончил в Харькове строительный институт и прилично говорил по-русски, он мне все объяснял. Палестинец понимал, что я приехал по еврейским делам, но тем не менее помогал.

Работа была очень простая: лопатой брать пробы бетона и относить в лабораторию, много ума не надо. Я проработал так неделю... Потом Марек говорит:

«Одна баба знакомая в Сити работает, говорит, там сейчас людей набирают. Ты перепиши свое резюме, только выкинь оттуда все про твои публикации и научную степень. Я что-то постараюсь для тебя сделать».

Я написал, отправил... И вот пришел как-то с работы, слушаю message на answering machine, ничего не понимаю, слушаю снова раз за разом и с седьмой попытки понимаю, что меня приглашают на собеседование!

Я сперва подумал: «Пошли они на хер, у меня замечательная работа, семь долларов в час!» На самом деле сейчас-то мне понятно, что это была нищенская беспросветная работа, в месяц это грубо 1250, отдаешь треть налогами, еще тра-тишь на бензин, и остаются копейки...

Я все же решил сходить к ним. Отпросился с работы, приезжаю в Сити и встречаю там чувака, который одет так, будто это все происходит где-нибудь в Днепропетровске. Странные штаны, смешная рубашка, сандалии какие-то... Он сначала говорил по-английски, а потом, когда выяснил, что я наполовину русский, а наполовину еврей, перешел на сель-

ский украинский и сказал фразу, которой я в своем отечестве ни разу не слышал:

– Так мы ж браты! Я тобі допоможу.

Этот эпизод меня потряс...



Этот сельский с виду парень оказался очень большим начальником. Его звали Пол Золтонецкий. Его мать бежала с Украины во время голодомора. Он пригласил меня к себе домой... Внутри там все было как, в украинской хате, с по-

ловичками и рушниками. Он никогда не работал в поле, но натура у него была крестьянская. Он, например, очень любил подсолнухи и заставлял их сажать на всех подчиненных ему объектах, у него даже была кличка Sunflower guy. В общем, меня взяли на работу в Сити после собеседования, на котором я рисовал разные графики. Как потом выяснилось, никто в этих графиках ничего не понял, им было только ясно, что я профи, этого оказалось достаточно. Многие русские мечтали попасть на работу в Сити, там стабильно, не увольняют, социальный пакет хороший... Мне просто завидовали! Особенно когда узнавали что моя годовая зарплата – 35 000 долларов, это было неплохо в 1990 году.

Я все еще плохо понимал, что мне говорят, а про документы и говорить нечего, я не мог не то что их писать, но даже и читать. Но тем не менее работал инженером, как это ни странно... Хорошо, там были двое русских, один из Азербайджана, другой из Белоруссии, они мне растолковывали, что и как... Еще я поддерживал отношения с одним ирландцем, работягой, он был знаток литературы, его любимые авторы – Гессе и Пастернак.

Перед первым моим уикендом на новой работе встал вопрос:

– В воскресенье кто хочет работать?

Все хотят, двойная же оплата. Уступили это право мне как самому бедному, которому деньги нужнее. Я продежурил на объекте 12 часов, мне заплатили 1200. Я сразу купил TV и

VCR...

Однажды я там залез не в свое дело.

Работяги заканчивали армирование конструкции. Я подошел, заглянул в чертежи и говорю:

– У вас тут ошибка, нельзя заливать.

Работяги меня не послушали. Я же, когда пришел трак с бетоном, сказал, что запрещаю выгрузку. Они удивились. Я для них был никто, но формально считался их начальником.

– Зовите вашего резидент-инженера! – говорю. Приходит баба. Я говорю ей:

– Тут ошибка.

– Как ошибка? Вот рабочие чертежи, все правильно.

– Так в чертеже и ошибка!

Объясняю ей, что к чему, она задумывается, мы идем смотреть другие чертежи, проектные. Она наконец понимает, в чем дело, и говорит работягам:

– Все переделать! Только быстро, осталось двадцать пять минут, не успеете – бетон придется выкидывать. (По правилам он должен быть залит не позже чем через полтора часа после отгрузки с завода.)

Ребята кинулись работать, все четверо, а жара 102 градуса.

С тех пор отношение ко мне поменялось. Они сами прибежали:

– Егор, тебя все устраивает?

Потом я как-то увидел: на чертеже нет температурного

шва, а он тут точно должен быть. Прихожу к старшему инженеру, негру:



– Шва нет!

– А его нет в рабочем чертеже. Идем с негром к супервайзеру:

– Ларри, будет время, глянь, тут шов должен быть.

– Хорошо...

На другой день Ларри говорит:

– Ты знаешь, вроде должен быть шов, но нигде нет на чертежах. Формально вроде все правильно. Но я вызвал проектировщиков.

На другой день приезжают два парня. Смотрели, смотрели... И говорят:

– Да, таки должен быть шов. И говорят арматурщикам:

– Ну что, все придется переделывать.

После этого никаких вопросов ко мне вообще не было. Я зажил. Купил новую машину, приличный костюм, богатый галстук.

Было интересно наблюдать за столкновением цивилизаций, которое всегда имеет место в эмиграции. Я увидел, что если человек прошел хорошую школу – на стройке, в аспирантуре – и если у него есть яйца, то на long run он выигрывает... Я увидел, что в Америке очень строгая иерархия, они говорят друг другу Пол и Уилл, но все четко понимают, кто есть кто. Если ты new comer, тебе все будут помогать. Но как только они осознают, что ты – их потенциальный конкурент, включается другой механизм, основанный на самой низкой подлости: «Ну как же, этот человек займет мое место, значит, мои дети не пойдут в хороший колледж. Я не куплю новую машину. Значит, я ущемлю интересы своих близких.

Кто мне дороже, этот чужак или мои родственники? При-

давив его, я совершу моральный акт». И это там сплошь и рядом. Я там через многое прошел, я многое вытерпел от своего начальника, который обижался, что я умнее его... Я его подселел в итоге.

Хотя мне все говорили: «Не связывайся с американцами, они тебя выкинут на улицу и будут выглядеть правыми». Я решил – буду такси водить, но меня хер кто заставит делать то, что я не хочу, особенно если я считаю, что прав. Мы ведь такие. Вот мы все любим Францию, но ее всю немцы взяли за 15 дней. А мы, такие неподмытые, легли в 22 километрах от Москвы, и хуй чё получилось у немцев.

Я пошел в рост. У меня было семь американских инженеров в подчинении, я редко бывал на объектах, – так, давал указания.

Я был в таком авторитете, что меня отмазали после того, как я по пьянке разбил новую казенную машину. Меня отмазали, хотя я сел за руль, выпив 21 рюмку водки! Авария случилась в 11 вечера, но мои начальники сказали, что это было служебное задание. После той аварии на все 24 казенные машины департамента подскочила страховка, но мне и слова никто не сказал.

И вот на волне этого успеха я прочитал в газете, что Эрнст Неизвестный собирается строить памятник зекам на Колыме. Я завелся: это ж вечная мерзлота, а я диссертацию защищал по бетонным работам на Севере! Я нашел телефон Эрнста в справочнике, позвонил ему, мы встретились, поле-

тели в Магадан, слово за слово, и вот я живу в Москве, живу русской жизнью. Ха-ха, может, я тоже патриот? В каком-то смысле? Патриот в третьем поколении?

А еще же четвертое поколение подросло: моя дочка от первого брака без моей помощи перебралась в Штаты и работает там врачом. Недавно приезжала ко мне в Москву. Вроде как просто повидаться...

Песня о Родине (исповедь графомана)



Я очень быстро понял, что мне сказать нечего, – вот это самое главное. Горькое открытие, но уж лучше правда. Лучше трезво смотреть на жизнь. А с точки зрения техники – все было в порядке. Стихи у меня всегда были техничные, это я понимаю.

Вот, допустим, у меня была такая вещь «Внезапный снег в Железноводске». Допустим, так:

*На тающей, на стынущей
Упавшей белизне
Желтком сгоревшим, сгнувшим
Горчишником остынущим*

*На синей простыне
Зрачком косящим, прорубью
В снегу прозревшей прорезью
Так вмятен, горек, чист
Внезапно с неба канувший,
Как отзвук дальний – лист.*

Там есть ляп, но он намеренный:

*Горчичником остынувшим
На синей простыне.*

Все в порядке тут с техникой.
Могу технику показать другу:

*Той зимой в морозном дыме,
В зазвевшем Усть-Илиме,
Отчеканенном червонным январем,
Сквозным, каленым,
Разметавшимся по склонам,
Снежном, утонувшем, сонном,
Ты мне вспомнилась...*

Ну и т. д.

Значит, технику можно прихватить, но непонятно, откуда
идет эта вещь, эта самая вещь...

На доске калиновой, червонной

*На кону горы крутопоклонной
В тридорога снегом занесенной
Высоко занесся санный, сонный
Полуберег, полугород, конный
В сбрую красных углей запряженный,
В желтую мастику утопленный
И в перегоревший сахар жженный...*

Как бы понимаешь – вот такие есть вещи. Ты их можешь моделировать – но это для тех кому есть что сказать! А мне – нечего. Вот и все. И наоборот – есть люди, которые не могут писать, но они соображают очень сильно. В итоге я не смотрю на то, что я написал, как на большую высокую поэзию. За какие-то строки мне вообще стыдно... Я этим занимался в 22–23 года. В 21 год я начал. Вот она, поэзия; когда б вы знали, из какого сора... Я встречался с девушкой одной три с половиной года. Она не хотела давать, потому что считала, что до свадьбы не дают, и я с ней не спал. Я ее щупал, но не ебал. Вот! (Потом я женился – именно на ней. Значит, как это ни смешно, в итоге ее тактика сработала, она не зря не давала...)

Во время этих ухаживаний Бог послал мне женщину, первую, а это очень важно – какой была первая. Я помню, как я сидел и ждал ее, она должна была приехать, и все должно было случиться, так и вышло; я этот день запомнил навсегда: это было 15 ноября, когда я ее трахнул. Я дрожал как мальчик, комплексов было полно, я был мальчишка необра-

ЗОВАННЫЙ.

Я писал ей стихи, она была единственная, кому я писал.
Вот, например:

*Как в старых романах и фильмах потертых,
Сидишь на диване с гитарой
И пламенем черным прически
И тихо поешь про двухстволку,
Про чьи-то колени,
Про то, что уходят на север в тумане олени
И пьян наш Валерка,
А ты хороша до озноба,
И я в бесшабашность твою
Как в ладони сугроба...*

...

*А ты все поешь,
Сероглазое, милое чудо.
Все верно, я верю,
Что солнце почти абрикоса
И нам уходит почему-то
Так трудно, так трудно.
Я не замечаю, что
Пальцы мне жжет папирosa*

...

Еще были такие строки:

*Украдет у ночи тьму дробный стук колес.
Парус – ветер украдет, снасти – тени звезд.
Унесут и нас года
В небо, в море, в города.
Над плечами наших мачт – темная вода,
Не летайте, не ломайте крылья,
Не стучитесь в теплые ладони.*

*Если солнце мы в зрачки запрячем,
То глаза любимой время не затронет,
Годы не затронули, а глаза остыли.
И ладони теплые сделались пустыми,
Голоса зеленые стали черно-белыми,
Время нас не трогает, время дело делает.
Не смолите днища и канаты,
Паруса на простыни порежьте.
Что с того, что простынь жестковата?
Ведь земля устойчива, на земле полегче.*

...

О чем это? Юношеская лирика. Но как ни странно – пиздец! – конфисковали тираж газеты, где этот стих вышел! Правда, это была многотиражка... Партком собрали, всерьез про идеологическую диверсию говорили. А, пессимизм, к чему призывают людей – не ходить в моря, не летать? Паруса на простыни разорвать?! И это в то время, как партия и проч., и проч.! Как слово наше отзовется? Да хер его знает,

как оно отзовется.

У этой истории могло б быть серьезное продолжение, но наш ректор все спустил на тормозах, – тогда как раз недавно было страшное дело по национализму в Львовском университете... Неохота было к себе внимание привлекать в той обстановке, и все замяли.

Поэзия!

Я выскочил как черт из коробочки, но меня вовремя задвинули обратно. А мог бы прославиться, стать героем, но ну его на хер, такой героизм.

Откуда это все взялось? Я же был советский провинциальный мальчик из небогатой семьи, который дрался, фарцевал, прогуливал уроки...

Интерес начался, наверно, в Братске, родители работали там, а я ходил в школу, класс в шестой. Туда в те времена приезжал Евтушенко, читал свои стихи; местные интеллигенты их писали на старинные здоровенные магнитофоны, все слушали, включая моих родителей, я тоже пытался, вникал, – и как-то на меня это действовало! Потом, в десятом классе, мне попался сборник Евтушенко же «Взмах руки». Я прочитал, мне понравилось. Быстро, очень быстро, я перекинулся на Вознесенского. Потом Лорка – полез туда. Я вышел на правильную тропу, прочитал «Доктора Живаго» и того Пастернака, который был опубликован, – я про стихи тут.

У меня странная память, я знаю наизусть тыщи стихов, ну тыщу точно, я любого могу переспорить, давайте читать наизусть хоть Мандельштама, хоть Пастернака, хоть кого! Один начинает, другой продолжает, кто первый выдохнется? Я однажды выпорил у одного серьезного парня «мерс», мы поспорили при свидетелях, и он проиграл, но я его при свидетелях же простил, похлопал по плечу: не нужен мне твой «мерс», свой есть, оставь себе. И он оставил. Это выглядело жалко, но он это проглотил.

Я не заучивал стихи, нет. Просто внимательно и с огромным интересом их читал. Наверное, я, как всякий графоман, пытался разобрать игрушку, чтобы понять, как она действует, чтобы повторить успех. Те стихи, которые меня потрясли, я их читал раз или два и запоминал от начала до конца, навсегда. При том что выучить наизусть я не могу ничего... «Мой дядя самых честных» – это я как раз плохо помню, а что касается личных интересов – другое дело.

Мне, как всякому графоману, хотелось писать. И я писал. На той же Зейской ГЭС. Вроде про комсомольскую стройку, но там не было слова про комсомол!

Только пантеизм. И чистая лирика.

Вот, пожалуйста:

*Застывшее небо набухло дождями,
И пахнут ладони озябшей росой.
Студеная Зея течет из тумана,
Парящий туман, как березовый сон.*

ПРИПЕВ:

*И за шесть тысяч верст
Будет сниться мне створ,
Весь в серебряной пене
В изумлении гор.
На щеках усталых трудяги буксира
Холодные капли мерцают слюдой.
А Зоя, как звон, как легенда, красива,
И в сопок кольце свист ветров над водой.
Испуганно эхо взметнулось к вершинам
И сквозь перекрытия радостный шум.
Упрямо пошли к котловану машины,
Как раньше ходили солдаты на штурм.*

Про Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, про всякий там энтузиазм – ни слова. Что и требовалось доказать. Совесть моя чиста. А то, знаете, некоторые великие поэты то Ленина хвалили, то Сталина...

Я еще в школе собрал группу ребят, которые интересовались стихами, мы договаривались и шли куда-нибудь в интернат и там со сцены читали стихи. Потом в институте тоже сбилась компания, мы собирались и читали. Французов, к примеру. В России не очень знают французскую поэзию. А у них есть большие поэты, тот же Аполлинер. Жак Преввер – роскошный поэт. Преввер – это очень просто:

*В манеже лжи
По кругу бежит
Красная лошадь улыбки твоей.
А я неподвижно стою на песке,
Хлыст правды печальной сжимаю в руке.
И нечего мне сказать.
Твоя улыбка так же верна,
Как правда, что может больно хлестать.*

И знаменитейшее его стихотворение «Барбара», которое ты, конечно же, слышал...

Орлуша мне говорит:

– Ну, французская поэзия – это же переводы!

Но у меня на этот счет своя теория. Раньше издавали много переводов, и хороших в том числе; видно, серьезные ребята, поэты, которые были в подполье, пошли в переводчики. И в академических изданиях был основной перевод, а в конце – варианты. И тут все очень просто, как с бабами: если у тебя выработался литературный вкус, очень легко отбрасывать то, что тебе не нравится. И я выбирал, как потом выяснилось, правильные переводы. Я много читал французов, которые мне очень нравились, и испанцев. Почему я очень люблю, в частности, Аполлинера? Впрочем, это длинный разговор и неинтересный.

Сам про себя я, конечно, понимал: какой, я на хуй, по-

эт... У меня были стихи более или менее технично сложены, но... Правда, я считал себя квалифицированным поэтом-песенником. Я начал в 20 лет писать с Джоном песни: он – музыку, я – тексты; это продолжалось долго...

Музыка всегда подпирала текст. «Мне нравится, что вы больны не мной» – эти стихи были известны всей России 70 лет. Но пока они не прозвучали с музыкой, никто из широкой публики их не знал. Кто возьмет сборник Высоцкого и прочтет его тексты как просто стихи – того постигнет жестокое разочарование. А стихи Окуджавы? Это не Мандельштам и не Пастернак, и даже не Тарковский...

Считая себя песенником, я могу сказать, что написал по крайней мере один хороший текст, который можно воспринимать без музыки.

*Если тронет улыбку печаль,
Если пальцы коснутся плеча
И мелькнет в осенней толпе
Твой прощальный взгляд...
Если тронет улыбку печаль,
Как зарницы смятение светлых гроз,
Мы заставим сердце молчать,
Но не сдержим слез.
Мы не сдержим тепла сентября,
Не поверив ему всерьез.*

*И осыплются листья, горя
В ломкий снег у застывших берез.
Вспыхнет прорубью под снегом
Холодом согрет
Лист, отпевший первым снегом
Твой уход – твой след.*

*В мире нет беспросветных ночей
И утерянных напрочь ключей.
На таежной стылой реке мне твой смех звучал.
В мире нет беспросветных ночей.
Будет, осень, светиться твое крыло,*

*И хмелеть апрельский ручей,
Дымный, как стекло.
И когда полыхнувший апрель
Тронет веткой твое окно,
Будет в лужах смеяться капель,
Словно не было в мире темно.
Словно не было горьких и смутных гроз.
Разве с небом сводят счеты за такую боль?
Разве можно ветер моря упрекать за соль?..*

*Будет ключ улыбаться реке,
И мелодия плыть вдалеке.
Будет ясных глаз глубина
холодеть у дна.
Будет ключ улыбаться реке,
Затанцует корабль на шальной волне,*

*И лежать рука на руке
в самом первом сне.*

*Нас укутает ветром прибой
на исходе тепла и дня,*

И соленые брызги и боль

Все пройдет, все отпустит меня.

Разве с небом сводят счеты за такую боль?

Разве можно ветер моря упрекать за соль?..

На самом деле это был текст песни, при том, что это, конечно, длинно для песни... Вот я все говорю про себя – графоман, графоман, но этот-то текст хороший, он, блядь, не графоманский! Я это написал в 1980 году. Мы как раз три песни продавали тогда Пугачевой, но это отдельная история...

Песни вот с чего начались (зейская история не в счет, там все было наивно и бескорыстно). В Одессе у меня была баба, она работала в деканате в консерватории, а муж ее был моряк на очень большом пароходе; она еблась от него, как почти все моряцкие жены, и как некоторые из них, именно со мной... Она видела, что у меня бабок нет, но ее грело, что я все-таки доцент. Ей захотелось поддержать хорошего парня, и она познакомила меня с преподавателем кафедры композиции, композитором же; слово за слово, я принес ему свои тексты. Помню, там точно был стих «Не ищите в море жемчуга, матросы» – подражание андалузской поэзии и заодно

Лорке. Композитор посмотрел это, задумался и говорит:

– Давайте мы с вами напишем песню о родине!

Да, свежие у него ассоциации: море, жемчуг – и родина, социалистическое отечество.

Мне уже было 33 года, какая, казалось бы, песня? При чем о родине? Но я исходил из того, что за песни платят, и это было главным мотивом. Или, может, графоманство мое разыграло? Но, с другой стороны, это был challenge: что, я не могу песню о родине сочинить?

Но как и что сочинять? Лично я о родине не думал ничего. И я не придумал ничего лучшего как прийти к своей еврейской маме и спросить:

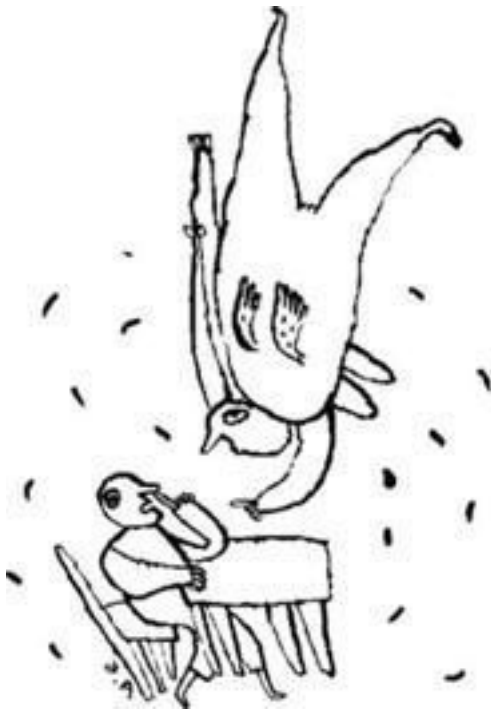
– Скажи, а ты что о родине думаешь?

– Родина – это мать...



Я серьезно отнесся к ее словам. Я тоже понимал, что можно, только убрав политику, говорить о родине – о природе, о сыновьях, в таком духе.

И я написал. Может, это плагиат, может, нет, но написал я так лобово:



Люблю сады твои в цвету
И грозы летние.
Люблю весенний шум апрельского ручья,
Дым стороны родной,
Тепло друзей-товарищей —
Все это – родина любимая моя.

И дальше припев:

Сколько сыновей нежных
Спит в твоих полях снежных,
Вечно спит в полях снежных...
Ты помнишь их, земля?
Боль моя и мой праздник,
Сколько нас таких разных
Поднято твоим светом,
Родина моя.

Композитор насторожился насчет сыновей нежных в полях, но потом остыл.

Третий куплет звучал, как сейчас видно, двусмысленно:

*С годами к нам приходят вновь простые истины.
Мы их несем в душе своей во все края.
Тобою мы живем, с тобою вместе выстоим,
С тобой всегда мы будем, родина моя.*

Во все края – в Тель-Авив, в Нью-Йорк, далее везде. Так, что ли?

Короче, композитор сочинил к этому тексту бессмертную музыку, и мы отправили песню на анонимный конкурс. Ну, эпизод, и ладно. Но вдруг выяснилось, что мы выиграли всеукраинский конкурс! Когда было подведение итогов, нашу песню исполнили в Кремлевском дворце, как бы подарок России – от Украины. Все было так по-взрослому! В Афга-

нистан ездил оркестр Одесского военного округа, среди прочего теноры исполняли и мой шедевр, как оргазм имитируя высокие чувства, и на словах «Сколько сыновей нежных» пацианты в Афгане плакали. Да и мелодия была хорошая.

Эту песню потом долго крутили по радио. Я получал от ВААП какие-то отчисления с этой песни, рублей двадцать в месяц – пока не уехал в Америку...

Эту историю рассказчик вспомнил, когда узнал, что его новые соотечественники – американцы вошли в Афган. Был новый challenge, что пусть бы и эти новые иностранные пацианты поплакали над пронзительными строками. И руки, короче, потянулись к перу, перо к бумаге, он задумался и сел переводить свою лирику на английский...

И мы еще посмотрим, чем это все кончится.

Потом мой напарник, композитор, говорит:

– Надо ко Дню Победы марш написать.

Ну, я сел и написал:

Сколько верст мы с тобой прошагали
Под бомбежкой, огнем и дождем,
Самых лучших друзей мы теряли.
Только верили в то, что дойдем,

ПРИПЕВ:

В час, когда горело небо и земля
И когда последний бой никто не ведал
Ты с нами был всегда,
Ты нас в окопах поднимал
И ты нас вел вперед,
Марш Победы, Марш Победы, Марш Победы

и т. д.

Продали мы и эту песню.

Я уже отец семейства, на четвертый десяток перевалил, обременен заботами, какая там поэзия, не до нее... Но приходит мой композитор, ноет: вот денег нет, но зато есть заказ от Минкультуры, жалко упускать.

– Ну, что там на этот раз? – спрашивал я недовольно, но денег хотелось.

Новый заказ был про первую школьную любовь.

– Да какая школьная любовь? Я женат уже второй раз...

– Ну я тебя прошу! Там все схвачено, ребята ждут!

И я ничтоже сумняшеся пишу:

На палубе на рассвете
Танцует с девчонкой ветер,
Плывет на исходе лета
Маленький пароход.
Знаю, запомним это

Любви нашей первое лето,
Щемящий напев кларнета
И школьный последний год.

Он с этим листком пошел по инстанциям... А хлопец-референт, который говорит только на мове, наезжает:

– Ганьба! Це ж серйозний поет, він про Батьківщину писав! А тут я не розумію... З ким дівчина танцює? Дівчина може танцювати з другою дівчиною або з хлопцем, а тут вітер – що за херня?

Композитор прибегает ко мне с этим:

– Бля, сделай что-нибудь! А то мы пролетаем с этим школьным вальсом!

– Ща я тебе напишу, только чтобы ты отъебался.



Тихо звучат гитары,
Как-то там – не помню уже – кружатся пары.
Вот и пришел, ребята,
Школьный последний бал.
Нас ждут впереди дороги,
Надежды, мечты, тревоги.
И даже учитель строгий
С улыбкою нас обнял.

– Я знал, что ты настоящий талант! Это ж другое дело!
Тут и лирика, и пафос, и педофилия – вообще все есть, очень
многослойное произведение.

Последний всплеск, последний отголосок моего поэтического творчества был такой.

Как-то в Москве в бане, ну, там свой коллектив сложился, и один завсегда, Коля, позвал нас на концерт.

– А что, шансон будет?

– С чего вдруг шансон?

– Ну а что вы, бандиты, слушаете?

– Да пошли вы на хуй! Бандит... Я композитор, я консерваторию окончил! (Тут он приврал, на самом деле – Гнесинское.) Я музыку пишу! Просто когда началась вся эта хуйня и не на что стало жить, занялся бизнесом...

И довольно удачно: он, чтобы вы знали, хозяин сети богатых магазинов – «Три толстяка». Но старого не забывает: платит 300 именных стипендий музыкантам и содержит джаз-банд. Короче, я дал Коле свои старые стихи, он положил их на музыку, записал на диске, да еще и вставил это в концерт, позвал меня и объявил со сцены, что в зале сидит поэт, автор текста. И вот не где-то, но в Московской филармонии исполнили мою песню:

Ветер, ветер, парус мелькает на склоне дня.

Ветер, ветер, флейта в тумане зовет меня.

Над темною водой печален флейты звук.

Далеко-далеко поет она в тишине ночной.

Ветер, ветер, берег желанный исчез вдали.

Манит флейта парусник-странник на край земли.
Над темною водой печален флейты звук.
Далеко-далеко поет она в тишине ночной.

Ветер, ветер, колокол светел, прощален звон.
Кораблей уснувших на рейде тревожит он.
Над темною водой печален флейты звук.
Далеко-далеко поет она в тишине ночной..

Где, где они все были раньше? Признание – если это считать признанием – несколько запоздало. И время сейчас другое. Современные девушки, когда им предлагаешь почитать стихи, спрашивают:

– Ты что, импотент, что ли?

Ну, зачем все мешать в одну кучу? При чем тут одно к другому?

Ничего святого у современной молодежи.

А вот еще в Штатах мне предложили написать песню про эмиграцию. Но на хер мне это?

Тем более что и от эмиграции я оторвался, живя последние десять лет в Москве, она мне еще меньше понятна, чем тогда школьный вальс многодетному отцу...

Вместо сочинения песен про эмиграцию я, наоборот, вернулся в Россию.

Странно: дедушка мой хотел свалить, свалил в Штаты – и вернулся. Папа попал в плен и сидел в лагере во Франции,

его предупреждали: в России тебя посадят! Он вернулся, и точно посадили, но он не жалел об этом.

Вот и я почему-то вернулся.

Это у нас, наверно, семейное.

Он рассказывал после:

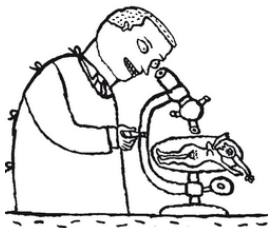
– Я на чужбине вспоминал сени, ковшик, бадейку с водой... И подумал: «Ну что, десять лет отсижу в Сибири – и вернусь».

Ну и кто он был, если не поэт? Вот и я в него удался. Все очень просто.

Только у него в отличие от меня хватило ума не писать стихов.



Первая женщина



Эту историю не понять, если не знать кое-чего о микроцивилизации, которая тогда существовала в Одессе, в те времена, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли. Все совпало: и хрущевская оттепель, и появление первых цехов, и денег, и толчков...

Одесса – это феномен в русской истории. Ее строили не под дулом пистолета, не крепостные, согнанные в болота, но свободные люди при помощи экономических инструментов. Вот, например, почему там были каменоломни? Да потому что до улицы Комсомольской, она же Портофранковская, было порто франко, отсюда до моря товары не облагались налогами, а дальше уже была Российская империя. Ну и начали таскать товар по катакомбам из империи в Одессу. Камень, конечно, тоже добывали, вся Одесса построена из ракушечника, но так, попутно – это не было главным в ка-

меноломнях.

Одесса – это был самый еврейский город СССР. Но евреев там было, дай Бог, 30 процентов. Да и не столько в еврейях было дело... Морской город, приливы, отливы, обмен идеями. В этом смысле Одесса была похожа на Геную, Венецию, Флоренцию, на Марсель. В Одессу побежали гагаузы, русские, украинцы... Градоначальники одесские были люди думающие: они пригласили к себе работать людей, которые Питер строили, французов и итальянцев. И результат виден: посмотри на оперный театр, на Потемкинскую лестницу...

Весь старый город был очень быстро выстроен. То, что в Питере на холоде из-под палки строится три года, в Одессе легко делалось за год. А вся планировка в Питере – как в Нью-Йорке: все очень просто и сразу понятно, что вдоль, что поперек. Одесса вообще показала, что экономические законы порождают другой дух. Мы помним легенду Пушкина, какой она была в XIX веке. Но и в XX веке Одесса была совершенно уникальным социумом, смогла остаться. Сейчас много говорят о том, что той Одессы уже нет, все уехали, и город заселили крестьяне, дух утрачен. Зря это говорят... Как – все уехали? А Кнеллер, а Голубенко? Крепкие ребята! И еще ж новые подрастают. Я тоже сначала думал – поджарые, морды беспородные, – но все не так просто.

Одесса... Ты не можешь вернуться к старой любовнице, потому что она уже бабушка. Но когда я приезжаю в Одессу, то я как будто мальчик и как будто ебусь с любимой девуш-

кой из своей молодости.

В этом феномен Одессы!

В Одессе жесткости такой, как, скажем, в Туле или Нижнем, где «Мать» Горького, никогда не было. Когда генерал и человек в розыске в Одессе сидят за одним столом, то сразу видно, что в них нет русской жесткости, когда отец на сына, когда белые-красные, когда черное-белое. Они оба понимают, что всем надо жить. Генерал смотрит на человека, который в бегах, и думает: «Мы ничего против тебя не имеем. Сегодня тебя разыскивают, такое время. А завтра могут меня начать разыскивать. Такая вещь – жизнь».

Вот Бабель... Вызвали Фроима Грача в ЧК и застрелили во дворе. Или Беня Крик... Какие-то вещи страшные были в Одессе, но они делались и смотрелись не так ужасно, как расстрел в Ипатьевском доме, такого духа никогда не было. Всегда цеховики могли сидеть с ментами и договариваться.

Эту струю внесли не украинцы и не молдаване, а евреи – и даже, может, больше греки. В Одессе нет национализма. По большому счету... Вот недавно выяснилось, что у Вити Красняка, который себя всю жизнь считал щирым украинцем, бабушка – еврейка. Там талантливые люди играют, там есть блески той старой субкультуры... Поезжай в Кострому и Ярославль, где русская культура, – и что ты там увидишь?

Вот представим себе. Растет мальчик в Тамбове, где два института и военное училище. И холодно. Климат важен! Южные люди гораздо более терпимы. Или возьмем финал

романа Тынянова «Кюхля». Кюхельбекер был из немцев, у него все напрямую. Он сердцем горел, он бы легко пошел до конца, так, чтобы его повесили, но как-то не сложилось. Он просто попал в ссылку. И вот финал: он сидит в курной избе, жена-чухонка и 13 детей. Абсолютно счастлив! Мне сразу вспоминается мой друг Фима, у которого в Одессе всегда были самые красивые девушки. А потом он по распределению уехал на Камчатку и оттуда привез чукчу, на которую без слез смотреть нельзя. Мы страшно удивились, а он сказал:

– Если б вы знали, как мне за нее пришлось бороться. Даже за такую.

Одесса в этом смысле всегда давала перспективы, потому что там море, а море всегда пробуждает какие-то фантастические вещи, – бессонница, Гомер, тугие паруса... Плюс в Одессе еще была консерватория и школа Столярского, где еврейские вундеркинды понимали, что ты станешь Осей Хейфицем, если будешь заниматься на скрипке. Было высшее мореходное училище, где ты мог стать настоящим мужчиной. Был хороший политехнический институт, всего – 17 вузов, мало какой город имел столько в советское время. А когда началась дружба со всеми этими темнокожими людьми с Кубы и из Афганистана, их стали принимать в наши военные училища – южным людям легче было на Юге.

Беня Крик; те старые традиции не были забыты, это придавало городу свой зловещий аромат, это дошло до меня, та-

кая эстафета. Я помню, как моя мама пришла как-то вечером домой, как сейчас помню, в каракулевой шапке... Мне было года три, и я помню, как она сказала: – В городе «Черная кошка» орудует... Банда. Есть легенда, что евреи склонны в основном к финансовым преступлениям. Но среди евреев есть и отмороженные бандюки. Они в Штатах задушили всех ирландцев, получилась связка жидов с итальянцами. Ирландцы говорят: мы умрем! А умирать не надо. Надо жить грамотно... Поэтому ирландцы проиграли тогда в Нью-Йорке.

И вот на этом фоне разворачивалась очень важная для меня история... Первая женщина в моей жизни была в Одессе. В то время я писал стихи.

Я был такой.

И пошел бы на истфак или на филфак... Но ты должен понимать, что раз ты мужчина, то ты должен бабло приносить. Так что я пошел в мореходку. Оттуда перевелся в строительный институт. Факультет мой – гидротехнический – был предпоследний по престижности, но страшно тяжелый по обучению. Процентом на 80 он состоял из приезжих, это были сельские дети, люди с Каховки. А вот сантехнический факультет или архитектурный – там были, конечно, одни одеситы. А одеситы очень резко отличаются от людей из деревень; это юг, там понтов было в те времена еще больше, чем в Москве.

У нас в группе была девушка необычайной красоты. Ну, не такая безумно красивая с точки зрения фигуры, она была худенькая... Но у нее было божественное лицо, огромные зеленые глаза... и она была похожа на цыганку. Я не приглядывался к ней никогда: она была старше меня, свекор ее был кэгэбэшник, а муж закончил наш факультет. И она меня нещадно подъебывала, острая была на язык девка. Я ее тихо ненавидел.

Мне шел 21-й год, я переписывал стихи доктора Живаго из запрещенной книги, я был полон комплексов, и самый главный из них был такой: я еще никого не ебал.

Но девушка у меня была. В 19 лет ровно, в 1969 году, я познакомился с девушкой и стал с ней романтично встречаться, и за два с половиной года самый большой прогресс был такой: я мог засунуть руку ей за пазуху и потрогать за сиську. Представляешь, да? И ты ни о чем больше не можешь думать, сперма давит на мозги, ты понимаешь, что можешь застрелиться... Это было очень тяжело, очень тяжело... Время было тяжелое. Наша культура несовершенна по сравнению с культурами древними.

Почему все вопросы регулируются бабками? Есть бабки – ты решаешь все остальные вопросы, нет – ты в дерьме... Мусульмане ввели гаремы, японцы – институт гейш. Когда я вспоминаю те муки, становится страшно. Найти кого-то еще? Но я не представлял себе, что я еще кого-то поцелую, кроме своей девушки. А девушкам этого не надо; во всяком

случае, тогда я был в этом уверен. Она была убеждена в том, что приличные девушки действительно не думают об этом и не будут никогда ебаться до свадьбы. И что самое дикое, я с этим ужасом соглашался, я считал это справедливым, мне в голову не приходило обозвать ее дурой и уйти, хлопнув дверью! Напротив, у меня уже были мысли – выебать какую-нибудь старуху (после чего вернуться к моей невинной голубке и ухватить ее за сиську). Это все же лучше, чем застрелиться. Все это было похоже на сумасшедший дом – для меня только.

Я предложил Ларисе – так ее звали – выйти за меня замуж. Но по каким-то причинам ее родители этого не хотели, а она была послушна.

Вот я недавно читал Мураками. Он модный, к тому же 1951 года рождения, а я 1950-го, мы ровесники... Мне попался у него рассказ, который меня задел. Он пишет, что, когда ему стукнуло 16, он думал только про еблю. Как знакомо! Он тоже, как я, мог застрелиться, но у него этот вопрос решился очень просто: его девушка делала ему минет, и все были довольны.

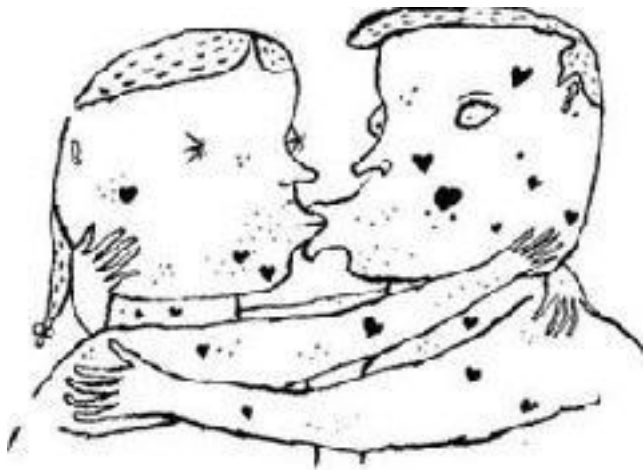
Господи!

Что же это такое? Сколько у нас в России родилось несчастных детей, сколько людей посадили за то, что они кого-то выебали... Какие у нас были твердые, какие идиотские правила! Как просто и спокойно все было у Мураками!

Обычный минет – и люди успокаиваются и живут дальше, читают книги, учатся, смотрят на цветение сакуры, сперма не давит им на мозг, не превращает в сексуальных маньяков.

Это ж было сумасшедшее решение вопроса! И у нас спустя 20 лет эта вещь стала обыденной. А тогда рассказывали про грязных тварей на вокзале, которые по пьянке сосут.

И вот на четвертом курсе строительного института я подружился с Валерой Трофимовым (он давно спился и умер), который мне притащил два номера журнала «Москва», где «Мастер и Маргарита». Я прочел эту книгу еще тогда, это было в те годы невероятным космическим прорывом. Мы с Валерой сошлись на почве литературы, он был мне страшно благодарен за то, что я сделал его публикующимся автором: мы с ним писали юмористические рассказы, я носил их в газету, и это печатали! Мы подписывались так: «СеТро» – Севастопольский и Трофимов. А еще мы вдвоем написали очерк про работу в стройотряде – он тоже вышел в газете.



И вот на четвертом курсе – четвертый курс, а я еще не ебался это крик души! – мне исполняется 21 год, а я все еще никого не ебал... Мы сидим в аудитории: я, Валера и две девушки из нашей группы. Одна из них как раз та, которую я тихо ненавидел. И Валера говорит:

– У моей сестры была, свадьба вчера, осталось много выпивки и закуски. Поехали ко мне!

Ну и поехали. С этими девушками.

Я тогда ничего не понимал в бабах. Я не догадывался, что Наташа, эта недотрога и красавица, хотела туда поехать больше, чем я. Такое было первый раз в моей жизни, я был уверен, что мы просто едем выпить и закусить.

Мы начали пить... У Валерки была гитара, Наташа взяла ее, она хорошо пела и играла. Когда она стала петь, я влю-

бился в нее невероятно.

Она пела:

Начальник отряда
Винтовку кладет на колени.
И нету на карте
Еще ни дорог, ни плотин.
Кончается лето,
На Север уходят олени
И нам по пути,
Ах, как жалко, что нам по пути.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.